

---

# Филология в лицах

---

## О художественных мирах Сергея Георгиевича Бочарова

DOI: 10.31425/0042-8795-2018-3-259-300

**Аннотация.** Подборка материалов, заочный круглый стол, посвященный воспоминаниям о С. Г. Бочарове (1929–2017) и высказываниям о его научных интересах и достижениях. Б. Егоров вспоминает о знакомстве с самим Бочаровым и о приобретенных благодаря ему новых друзьях. Ю. Манн рассказывает об идеологических трудностях филологии советского периода, о значении Бахтина, Гоголя и Платонова в жизни и творческом мире Бочарова. Д. Урнов размышляет о природе филологического дара Бочарова и о совместной работе в Отделе теории литературы в ИМЛИ. Л. Силард вспоминает студенческие годы в МГУ и дружбу с семьей Сергея и Ирины Бочаровых, начавшуюся в 1950-х и продлившуюся всю жизнь. Е. Дмитриева рассказывает о развитии гоголевского сюжета в статьях Бочарова, о его работе над полным собранием сочинений Гоголя. В. Котельников размышляет о К. Леонтьеве в восприятии Бочарова. П. Глушаков предлагает вспомнить главные идеи Бочарова, например, его мысль о генетической памяти литературы, и иллюстрирует ее наблюдениями о дуэли, выстреле и мести у Пушкина, Лермонтова, Чехова, Шукшина.

**Ключевые слова:** С. Аверинцев, М. Бахтин, С. Бочаров, Н. Гоголь, К. Леонтьев, А. Платонов, А. Пушкин, А. Чехов, В. Шукшин, «вещество существования», генетическая память литературы, феноменология.

Подборка статей поступила 08.10.2017.

## От составителя

Этот мемориальный раздел был задуман и в той или иной мере осуществился в материалах двух типов: памятные виньетки и эскизы к будущим полноценным воспоминаниям о живых чертах Сергея Георгиевича Бочарова (1929–2017) соседствуют с заметками, в которых ученый показан на фоне и в перспективе его магистральных сюжетов — пушкиноведения и гоголеведения, изучения наследия К. Леонтьева, идей о «генетических процессах» в литературе.

В предисловии к своей книге «О художественных мирах» С. Бочаров писал, что авторские миры — это сообщающиеся миры. «Их тайными и явными перекличками, их “диалогом” творится живая картина нашей литературы» [Бочаров 1985: 4]. Как мы видим, ученый (вынужденно или нет) ставил слово *диалог* в кавычки — настолько непривычно звучали эти идеи даже и спустя два десятилетия после появления «возвращенных» бахтинских работ. Это обстоятельство заставляет задуматься не столько о понятных, в сущности, «умственных плотинах», сколько об инертности самого филологического мышления, преодолению которого посвятил свое научное творчество Бочаров.

Совершенно понятно, что *выдающийся* ученый видит дальше и глубже окружающих; очевидно, что он понимает явления иначе, непривычно, по-новому; но часто упускается из виду, что такому ученому приходится делать не только и даже не столько научное открытие, сколько совершать *духовный рывок*, на который по тем или иным причинам не отважились его современники. Неслучайно, думается, в уже цитированном предуведомлении «От автора» Бочаров заявляет: «В статьях, составляющих настоящую книгу, только фрагменты этой большой картины. Только отдельные звенья, но звенья связного и духовно-направленного пути» [Бочаров 1985: 4].

Научное наследие С. Бочарова живо и притягательно именно потому, что сам ученый бесстрашно и свободно устремляется в те пределы литературы, которые требуют в том числе и от читателей таких духовно-направленных устремлений, созерцания и — главное — сотворчест-

ва. У Бочарова-литературоведа мало формальных учеников (аспирантов, соискателей), но в той или иной степени каждый талантливый литературовед может быть назван если не его учеником, то собеседником.

Таковыми собеседниками Сергея Бочарова, смею думать, стали авторы этого раздела в журнале «Вопросы литературы», с которым ученого связывали долгие десятилетия сотрудничества.

Своей приятной обязанностью считаю выразить благодарность авторам этого раздела, которые (иногда преодолевая недомогание и иные жизненные невзгоды) с радостью и воодушевлением сказали свое слово живой памяти о Сергее Бочарове.

*Павел ГЛУШАКОВ*

## **Памяти С. Г. Бочарова**

### **Борис Федорович Егоров**

доктор филологических наук

Санкт-Петербургский институт истории РАН

(197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7;

email: borfed@mail.ru)

Мы, почти ровесники, входили в суетный литературоведческий круг в 1950-х годах и тогда же и познакомились. Появились и общие сферы, где связь становится теснее. Вначале это была материальная помощь М. Бахтину (наряду с москвичами помогали и тартуанцы), потом — совместное участие в словаре «Русские писатели. 1800—1917». Я был заместителем главного редактора с 1-го тома (1989), ныне я даже главный редактор; а Сергей Георгиевич — член редколлегии с 5-го тома (2007), но участвовал как автор, рецензент и советчик с самого начала. В годы XXI века возникало особенно много контактов, главным образом, при создании коллективных писем к властям и к выдающимся современникам (А. Солжени-

цын) — с просьбами о различных видах помощи в издании Словаря.

Конечно, следовали взаимные отклики на вышедшие в свет научные труды товарища. Постепенно я раскрывал не только научную талантливость Сергея Георгиевича, но и выдающиеся человеческие качества. Однажды он меня просто поразил. Не будучи в тот час здоровым, я должен был в Москве перевозить тюки книг, и С. Г., узнав об этом, тут же предложил себя в качестве помощника, то есть грузчика! А он ведь уже тогда не отличался отменным здоровьем!

И навсегда сохраню благодарность Сергею Георгиевичу за невольную помощь в моих содружествах и в создании моего философски-психологического понятия «друг друга»: я открыл, что друг друга на ценностной шкале оказывается ничуть не ниже самого друга, так как он усиливает волны дружеского притяжения. И С. Г. создал мне два таких комплекса.

У моего любимого Юрия Николаевича Чумакова, как он мне однажды признался, было два самых близких человека мужского пола: я и Бочаров! Как же мне не потянуться к С. Г.?!

И еще одно не менее интересное содружество. С. Г. чуть ли не полвека назад познакомил меня с замечательным японским профессором Риохей Ясуи, который с юности влюбился в русскую литературу, стал видным специалистом, много лет преподавал в Токийском университете русский язык и русскую литературу и регулярно печатал в видной газете «Асахи» обзоры о новейшей русской культуре. И он почти ежегодно приезжал летом на месячную экскурсию по России — и почти всегда с группой своих студентов. А главных объектов у него было три: Москва, Питер, Вологодская деревня. И во всех трех у него были три главных личности: Бочаров, Егоров, Василий Белов (в его деревне потрясающее регулярное знакомство с русским бытом, от кулинарных символов, включая самогон, до парной бани и ночлега на сеновале).

К сожалению, двое из трех друзей ушли из жизни, да и Ясуи-сан постарел, ему стало трудно ездить на такие большие расстояния. Я дружу с Ясуи-саном: не только он

был многократным гостем, я дважды участвовал по его приглашению в японских конференциях русистов — и эта дружба существует под знаком С. Г.

Больно резануло известие о кончине С. Г. Знал, что он тяжело болен, но все равно такие известия корежат душу. И остается вспоминать Жуковского: «Не говори с тоской: их нет, а с благодарностью: были». Да сохраним мы светлую память о Сергее Георгиевиче!

### **Сергей Бочаров: от «приема» к «веществу»**

#### **Юрий Владимирович Манн**

доктор филологических наук

Российский государственный гуманитарный университет  
(125993, Россия, г. Москва, ГСП-3, Миусская площадь, д. 6;  
email: ymann@si.ru)

Нужно принадлежать к поколению Бочарова (или ему близкому), чтобы представить себе те трудности и препятствия, которые пришлось преодолеть Сергею Георгиевичу.

По распространенному в свое время мнению, одним из главных противников прогресса литературы и искусства являлся формализм. Мало сказать — «враг», мало — «достойный изничтожения», но надо еще, чтобы в эту борьбу входила страстная убежденность, включалось личное начало. На филфаке МГУ эту страсть и убежденность умел передавать доцент Савинченко в аудитории, носившей вполне подходящее в данном случае имя — Коммунистической аудитории. В этой аудитории раз в неделю как конкурники присутствовали и мы с Бочаровым.

Не было никакой возможности заранее представить себе те приемы красноречия, к которым прибегал Савинченко. Например, однажды, будучи человеком определенно славянского типа, русским или украинцем, он вдруг совершенно неожиданно перешел в своей лекции на ярко

выраженное кавказское (очевидно, грузинское) произношение. Было это в 1952 году. Думаю, не надо пояснять, кому в данном случае подражал доцент МГУ Савинченко.

Но оставим в стороне прошлое. Коснемся бегло — очень бегло! — настоящего, то есть научной деятельности Сергея Георгиевича.

Передо мною одна из первых книг Бочарова — «Поэтика Пушкина» (1974). Мне довелось быть ее рецензентом; рецензия опубликована в «Известиях Академии наук СССР. Серия литературы и языка» (1976, том 35, № 3, с. 271—273).

Одно из главных направлений книги — анализ речевых и повествовательных форм пушкинской прозы. И то и другое — язык (речь) и повествование — рассматриваются в их предельном, пограничном выражении, когда, по словам М. Бахтина, которого цитирует Бочаров, «образы языков неотделимы от образов мировоззрений и их живых носителей — людей, мыслящих, говорящих и действующих в исторически конкретной обстановке» [Бочаров 1974: 87—88]. Вообще начиная с этой книги Бахтин становится для Бочарова и главным научным авторитетом, и источником вдохновения.

В свете этого влияния в книге рассмотрены не только приемы развития определенного стиля, но и взаимодействие стилей, их диалог, который в своем развитии, вариативности, порою, как говорит исследователь, «стилистическим стыком» создает судьбу персонажа, Ленского или Онегина например.

Книга Бочарова, несмотря на малый объем, представляет собою энциклопедию «приемов зависимости» персонажей от внешнего мира, фиксирования различных стилистических факторов этой зависимости. Неудивительно поэтому и то, что дальнейшее развитие автора было связано с пересмотром и отчасти даже отказом от принятых категорий.

Этот процесс Бочаров отразил и мотивировал в письме к автору настоящих строк (письмо от 3 июня 1989 года):

Ты говоришь об обстоятельствах, и мне показалось, что склонен их объяснять влиянием внешней среды, которая — я

говорю о себе — окрасила эти многие годы. Не знаю, так ли это, но я чувствую как-то иначе. Окружение — вещь неоднородная и конечно, она влияет, но влияет неоднородно. Может быть, и мне надо назвать то, о чем ты хочешь сказать; не обстоятельства, а некие законы жизни, довольно таинственные, которые непросто уразуметь самому. Уж если и обстоятельства, то в двухсторонней форме, которую ты мне на днях напомнил: «характеры и обстоятельства», да плюс еще к ним то самое, более сильное и непонятное [Манн 2014: 325–326].

Так появляется другая категория — «вещество», причем на самом видном месте — в названии книги «Вещество существования» (2014).

Нелегко усмотреть в этом наименовании «смысловой ход», закон построения, способ организации, словом, *прием*. Но таковой все-таки наличествует у Бочарова, только в очень широком, бесконечно широком охвате, как, например, в вошедшем в настоящую книгу этюде «“Красавица мира”. Женская красота у Гоголя». Познание этого явления — дело бесконечно трудное, если же все-таки отважишься на него, то приходишь к фактографии, требующей, согласно Бочарову, такой же тщательности расшифровки: «Женщина как ударная сила равняется в мире Гоголя другим ударным силам этого мира — *взгляду и слову*» [Бочаров 2014: 52] (курсив в оригинале). И *взгляд* и *слово* даны без определения их свойств, они не нуждаются в таковых. Они важны и сильны уже сами по себе, образуя вещество существования, почву, на которой способно произрастать все живое и самобытное.

Но тут возникает неожиданное: оказывается, филология тяжело переживает «свою неспособность быть точной наукой», она раскрывается во внутреннем сопротивлении этой своей неспособности, а это значит, что она стремится к познанию приемов, только во всей их сложности и многозначности. Это значит, что исследователь возвращается к традиционным для литературоведения (особенно теории литературы) категориям, только в их обогащенном и, можно сказать, утонченном облике.

## Естественность понимания

**Дмитрий Михайлович Урнов**

доктор филологических наук

литературовед

(94804, США, Ричмонд, Калифорния, Бэйсайд Корт, № 162;

email: urnov@comcast.net)

...Облака, тучи закрывают небо, вдруг проясняется и взору открывается голубой небосвод. Таково впечатление от работ Сергея Бочарова. «Голубые мозги» — говорили о нем, истолкователе с удивительной способностью раскрывать текст классический так, словно впервые в самом деле прочитанный.

Интерпретация нам, занимавшимся изучением литературы, служила приемом преимущественным, вселяя чувство относительного освобождения во времена догматические, подцензурные. Еще не зная слова «феноменология», интерпретировали все, наслаждаясь возможностью прочесть и понять по-своему вопреки со школьной скамьи предписанному историко-социальному детерминизму. Иные, дорвавшись, вершили произвол, насильничали над текстом, как бы говоря: а почему нельзя и с вывертом читать, раз мне в голову пришло — подумалось. Но Сергея отличала естественность понимания, текст становился понятен именно так, как его прочел Бочаров.

Помню гнетущее чувство от незнания, *что* сказать, когда нашему Отделу теории предстояло создавать очередной коллективный труд. Далеко не все можно было сказать, если говорить о социалистическом реализме, а именно об этом должен быть плановый опус. Должен, и все! Долженствование распространялось на сотрудников и на директора ИМЛИ, которым, отбыв срок, стал вышедший на свободу политзаключенный Борис Леонтьевич Сучков. К Отделу теории он относился с пристрастным вниманием, ибо кто же еще, как не теоретики, должны дать осмысление ведущего метода советской литературы. Прочел Борис Леонтьевич ему представленную объемом в тридцать авторских листов машинопись и забраковал. По мнению руководителя широко образован-



ного (каким и должен быть глава ИМЛИ), не отвечали требованиям современности наши размышления, когда требовалось установить, что такое реализм, да еще социалистический. Директор одобрил, и одобрил восторженно, одну статью, хотя там, как ни странно, понятие «социалистический реализм» и не упоминалось. То была статья Сергея Бочарова «Вещество существования».

Предметом статьи послужил Андрей Платонов, в свою очередь возвращавшийся, хотя бы посмертно, из долговременного небытия, но еще не совсем вернувшийся: к таким «реабилитированным» относились с опаской. Времена были брежневские, откат от хрущевской оттепели, считалось нужным притормозить с разоблачениями последствий культа личности. Как раз в ту пору разразился скандал, политический скандал, вызванный выступлением в ЦДЛ однофамильца нашего директора, поэта и скульптора Федота Сучкова. На вечере памяти Андрея Платонова Федот Федотович, сам недавний зека, грохнул такую речь, что, по мнению блюстителей литературного порядка, пора Андрея Платонова опять изымать и закрывать, если по поводу его наконец переизданных произведений полились речи недопустимые. Атмосфера образовалась напряженная. Между тем в статье, особо выделенной директором, никакого напряжения и не чувствовалось, автор-истолкователь прочитал из Платонова, что к тому времени стало доступно, и ясно изложил им понятное. «Прекрасно показано пробуждение дремучих мозгов» — так оценил «Вещество существования» Борис Леонтьевич, своими боками пообтерший острые углы проблематики «Происхождения мастера» и «Сокровенного человека». А мы, как ни были мы угнетены сознанием собственной теоретической беспомощности, единодушно согласились с директорской оценкой. Ничего не скажешь: голубые мозги!

Однако по поводу той же статьи, нам всем казавшейся чудом интерпретационного искусства, решил я приватно высказать Сергею замечание, одно единственное. Со всем был согласен, кроме первой фразы. Цитирую по памяти: «Платонов поражает прежде всего языком». Нет, как всякий писатель, поражает, по-моему, своим отношением к жизни. Обращать внимание на язык, каким отно-

шение выражено, — не дело читателя, разве что потом, во вторую очередь, читатель обратит внимание на то, как за-тейливо написано. Сергей мне сказал: «Это не мои проблемы». Прежде чем высказаться на заседаниях Отдела, мы должны были прочесть представленные работы, ставили на полях машинописей вопросы, ставил я, а Сергей мне отвечал: «Это не мои вопросы». Спорить отказывался или не считал нужным. Вообще не помню, чтобы он пространно полемизировал в какой-либо аудитории.

Участвовали мы с ним вместе в одной и той же дискуссии, было это задолго до институтской службы, когда Сергей начал учиться в аспирантуре ИМЛИ, а я перешел на второй курс филологического факультета в МГУ. В районной библиотеке, недалеко от Каретного ряда, состоялось обсуждение нашумевшей статьи Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Впоследствии признанная предвестием оттепели статья появилась в «Новом мире» в конце того года, когда умер Сталин. Впервые в советской подцензурной печати прочли (между строк), что наша литература полна лжи. В обсуждении участвовали автор статьи и писатель Владимир Дудинцев, который, правда, сказал, что ему стыдно называть себя писателем после такой статьи. Сергей присутствовал, слушал внимательно, он мне рассказал, что, взяв слово, я нечленораздельно, зато пылко выкрикивал, что неискренней является сама статья: не об искренности надо говорить — о правдивости. Но сам он не выступил тогда и в дальнейшем, мне кажется, о текущей литературе не высказывался.

Его сдержанность была замечена за рубежом: «Бочаров — это ученый» — подобная характеристика в контексте того времени означала уклонение от конъюнктурных компромиссов, на которые приходилось идти всякому, кто решался выступать на страницах газет и журналов.

К сожалению, нет нигде более или менее подробной биографии Бочарова, хотя я сам виноват, что не узнал о нем побольше, в частности о его родителях. А наше с ним знакомство было предуказано судьбою. Как-то зашел Сергей ко мне домой, жил я на Б. Якиманке, 30. «Вы — Бочаров?» — задала ему вопрос моя тетка, учительница, завуч в школе рабочей молодежи. Упомянул ли я, что зайдет к нам

мой знакомый по фамилии Бочаров, или сама она, давняя обитательница замоскворецких мест, узнала знакомые черты, но оказалось, что отец Сергея когда-то жил в том же доме, и моя тетка его прекрасно помнила. «Похож» — так и сказала, рассматривая Сергея. Как ответил Сергей? Сдержанно. Усмехнулся, и только. Тетка готова была рассказать, что за разговоры Бочаров-отец вел с моим политически наэлектризованным дедом Василием, «недобитым эсером», попавшим в чистку. Сергей интереса не проявил. Раз и навсегда с какого-то момента (какого, я так и не знаю) оградился он от шума городского, литературой прошлого защитился от злобы дня. Так Сергей Георгиевич себя *позиционировал*, выражаясь нынешним российским, англизированным языком.

Характерно, что погрузившись в литературу XIX столетия, тенденциозную, политизированную, даже если речь о несостоявшейся любви, Бочаров в своей первой маленькой книжке-кудеснице, которая, как волшебная палочка, безо всяких громокипящих, многозначительных слов разъясняла «Войну и мир», ни словом, однако, не обмолвился о злободневной подоплеке романа. К сожалению, раннюю статью Сергея в коллективном труде «Ленин о литературе» я не читал — еще не был сотрудником Отдела теории и не представляю, как обошелся Бочаров и с Лениным, и с Толстым, который, согласно Ленину, революции не понял. Но ведь когда появилась «Война и мир», тенденциозность толстовского эпического повествования сразу вызвала всеобщий отпор. Леворадикальная критика восприняла роман как философию застоя, а консерватор-реакционер Константин Леонтьев в описательной толстовской детализации, с его точки зрения, излишней («излишками» и занимался Сергей), увидел демократически-уравнительное принижение российской действительности. Почему же не упомянуть об этом? Но в ответ на воображаемое замечание мне слышится возражение Сергея: «Это не мои проблемы». Собственно, Сергей в самом деле так и сказал, но не по поводу «Войны и мира», а — «В поисках утраченного времени». Наставил я вопросов на полях машинописи его статьи «Марсель Пруст и “поток сознания”», и Сергей их разом отверг: «Это не мои вопросы».

У меня на глазах оттолкнул Сергей книгу, хотя книги с ним не было, но сделал жест, будто он решительно отвергает труд еще одного вычеркнутого в конце 1930-х из общественно-литературной жизни, но через восемнадцать лет возвращенного нам на расправу. «Жалею, что купил», — с раздражением произнес Сергей, имея в виду сборник переизданных работ Валериана Федоровича Переверзева. Не мог автор работ о Гоголе и Достоевском не приобрести книгу «Гоголь, Достоевский. Исследования», но в глазах Бочарова корифей так называемой «вульгарной социологии» осквернял своим социологическим прикосновением тексты, над которыми Сергей священнодействовал.

Как я уже сказал, погрузились мы в тексты раньше, чем усвоили суть феноменологии. Отечественный формализм и «механика текста» явились для нас исходным влиянием, на это в статьях Сергея сделаны ссылки. В пушкинской биографии, созданной Сергеем в соавторстве с И. Сурат, я, как на моем месте поступил бы, пожалуй, всякий автор, обратился к тем страницам, где мог быть упомянут известный Сергею мой тезис о «Борисе Годунове»: пушкинская трагедия создана в полемике с будущими декабристами как предостережение им. Упомянут! Пусть без кавычек и без сноски, но в то время уже развилась, вместо академической обязательности, выборочная тактика упоминаний: кого назвать под строкой, а кого нет, так что чувствуешь общую склонность острее, когда она тебя болезненно касается.

Значит, до феноменологического усмотрения мы своим умом дошли, а Сергей Бочаров показал себя несравненно зорким мастером увидеть построение и понять динамику художественного текста. Шедевром его, мне кажется, можно считать убедительно продемонстрированную им переключку «Бедных людей» с «Шинелью» на фоне «Станционного смотрителя». На эту связь, конечно, обращали внимание и раньше (Сергей сослался на Эйхенбаума), но Бочаров это выявил по-бочаровски, слово за словом. У меня, поверьте, мурашки по коже забегали, когда я читал эти страницы в их машинописном варианте: сезам! Открывается дверь в писательский кабинет.

«Больше ничего не выжмешь из рассказа моего» — эту пушкинскую строку Бочаров взял за методологический

принцип, тактично не превышая меры нажима. А в то время интерпретация обрела размеры и блеск циркового аттракциона: кто выкинет что-нибудь почуднее. Причем — не только у нас повсюду, прежде всего за океаном, где новшество тут же приобретает американский размах. Один тамошний интерпретатор постиг, что «Война и мир» построена как танец, кажется, вальс. Во всяком случае, он не только мне рассказывал о своем прочтении, но и показывал па, напоминавшие движения под мелодию «Сказок Венского леса». Не шучу и не преувеличиваю. А что? Может быть, так и есть, но что из этого следует? Разгромная статья Шелгунова больше говорит о смысле толстовского романа. Всякий тренд (пользуясь ныне модным термином маркетинга) доходит до издержек и крайностей, и о них не стоило бы упоминать, вспоминая искусные истолкования Сергея Бочарова. Но от смешного до несмешного один шаг, и есть пункт, где, по-моему, Сергей выжал из текста больше, чем следовало бы.

Истолкователь Сергей Бочаров в той же, можно сказать, классической в своем роде статье «О стиле Гоголя» вдруг, смешивая два ремесла, отождествляет себя с читателем и требует, чтобы читатель читал так же, как читает он, истолкователь, выискивая, а еще лучше выковыривая смысл сказанного автором. Это все равно, как если бы в цирке от зрителей стали требовать: «Поднимайтесь под купол на трапеции и ходите по канату, чтобы вполне оценить искусство гимнастов».

Помню, как Сергей сделал в этом направлении первый шаг и, по обыкновению, начал с Пушкина. Стих Пушкина, сказал Бочаров, не так прост, как кажется. Но ведь в этой кажимости и заключается неподражаемая власть пушкинского стиля. Как достигается кажимость, которой нет ничего равного в русской поэзии, вопрос для изучающих — не читающих и запоминающих на всю жизнь пушкинские строки, стихотворения и роман в стихах хотя бы наполовину, а бывает, и почти целиком. Пушкин погиб, Гоголь, как сам же Сергей говорит, перестал творить, когда того и другого гения стала покидать способность выражать себя вроде бы просто и на смену видимой невольности пришло заметно-напряженное «размышляю» (признание Пушкина).

Читатель поглощает текст, не думая, как он читает, а если читатель начнет раздумывать над процессом чтения, то превратится в сороконожку Мейрика, соображающую, какой лапкой шевельнуть. Читатель — не профессионал чтения, он любитель читать. И читает читатель именно тем манером, какой для истолкователя означает «скользить по тексту» (слова Бочарова). Скользит читатель лишь в том случае, если чтение увлекает его. Скользит и вдруг поражается, увидев очами души, прямо перед собой, как в жизни, фигуру Собакевича или Плюшкина, а менее выразительное читатель имеет право и не замечать. Будет как-нибудь перечитывать, быть может, и обратит внимание на что-нибудь эдакое, выисканное автором и втиснутое в текст с особым значением, которое чтобы понять, надо расковырять.

Истолкователь читает медленно, пристально, в известном смысле разрушительно. Так знаток живописи рассматривает картину, интересуясь, среди прочего, как загрунтован холст. А писатель — как он пишет? Для кого? «Писать, чтобы читали» — девиз Диккенса, одного из немногих классиков, которого не только изучают, но и в самом деле читают. Сергей, составляя список своего любимого чтения, поставил *все* Диккенса. Надо полагать, он прочитал за томом том, скользя, прежде чем задумался над диккенсовской поэтикой.

«Живое описание» — пушкинское впечатление от прозы Гоголя. Но в гоголевской прозе не все равно-живое, есть и такое, что надо и выжимать, и выискивать. Такого полно у Пруста в «Поисках утраченного времени», но Сергей в своей статье не отличил живое от мертворожденного, и против соответствующих пассажей я поставил свои вопросы, на которые Сергей ответил указанием, что не его это вопросы. Однако Пруст, как мог, все-таки писал для читателей. Удалось ему это или нет, у читателей и надо спрашивать. Давно уже пишется литература заведомо для истолкователей, пишется позакавыристей, чтобы было что расковыривать.

У Сергея Бочарова при чтении была нагрузка дополнительная, была у его сверстников, была и у нашего поколения, измерялась нагрузкой требованиями, что можно и чего нельзя прочитать и написать о том. Приходилось решать проблемы, которые, как выражался Розанов, решать

при сложившейся ситуации нельзя. Имел он в виду религиозные разногласия в границах официальной веры, а над нами нависало секулярное официальное запретительство. Неприкасаемые проблемы Розанов, по его выражению, сбрасывал со стола, мы тоже пытались сбрасывать, пытались и решать. Сергею это удавалось лучше других, у него мозги были голубые.

## Кормчие звезды

### Лена Силард

доктор филологических наук Венгерской Академии наук  
литературовед  
(1051, Венгрия, Будапешт, пл. Иштвана Сечени, д. 9;  
email: szilard.lena@gmail.com)

Когда я размышляю о Сереже и Ирочке Бочаровых, мне почти всегда вспоминается звучная формула Вяч. Иванова: «Кормчие звезды»...

До поступления в МГУ центром моей жизни был один из останкинских двухэтажных (фанерных) бараков (так называемого Пушкинского студенческого городка), обитатели которого, невольные отщепенцы, включая нашу семью, сплотились в многоязычное содружество, где люди посильно помогали друг другу то рублевкой или трешкой, а то и тетрадкой, или сахаром к чаю для неожиданного гостя. Выходить из этого тесного круга солидарности изгоев было нелегко, хотя мы с детских лет усвоили, что в «Правде» нет правды, а в «Известиях» нет известий, и внутренне были далеки от жизни столицы. Так, до сих пор не могу забыть потрясения, пережитого мной в десятилетнем возрасте, когда однажды в трамвае моим родителям, полупешотом говорившим между собой по-татарски, одна дама, возле которой мы стояли, назидательно прокричала: «Лала-ла! Говорили бы по-человечески!»

В 1950 году я была принята на русское отделение филологического факультета МГУ, и я очутилась в мире противонаправленных устремлений, среди которых господствовала, разумеется, официозная линия, утверждаемая

стенной газетой «Комсомолия», где особенно подвизались будущие подмастерья инженеров человеческих душ. И вот в 1953 году меня настигло здесь еще более сильное потрясение: мне бросилась в глаза разносная статья «О чем думает доцент Белкин», где утверждалось в качестве одного из главных пунктов обвинения, что доцент Белкин недооценивает деятельность революционных демократов. Я восприняла этот пункт обвинения как омерзительную ложь: дело в том, что я начиная с 1-го курса ходила вольнослушательницей на многие очень интересные спецкурсы, в том числе и на спецкурс Абрама Александровича Белкина, и могу засвидетельствовать, что вступительная и заключительная лекции этого спецкурса представляли собой, на мой взгляд, даже преувеличенные реверансы в сторону революционных демократов, хотя в целом задачей спецкурса, очевидной по его названию, был анализ прозы середины XIX века (на основе теперь уже общеизвестного метода «медленного чтения»), а не рассмотрение литературной критики.

К сожалению, ни в этом, ни в других подобных случаях (хотя и не такого возмутительного уровня) я не видела путей для возможности опровержения, хотя, судя по реакции на лицах многих старшекурсников (и аспирантов), многие не принимали этой «системы разносов». Среди них, людей «с лица не общим выраженьем», мне бросилась в глаза особенно привлекательная пара, которая показалась мне наглядным воплощением принципа «единства противоположностей». Он — высокий и худой, она — маленькая и кругленькая.

Я не могу припомнить, когда именно Бочаровы пригласили меня к себе на чай, но начиная с этого момента я почти регулярно бывала у них. У них я погружалась в мир настоящей русской культуры, который открывался мне теперь уже не из книг, а из простой жизни (как несколько позднее — в семье Аверинцевых и немногих других). А после лекции С. Бочарова «Мир в романе Л. Толстого “Война и мир”», которая оказалась для меня путеводной, я положила себе за правило читать все, публикуемое С. Бочаровым, и по мере сил вникать в ход его мысли. Но когда я при встрече задавала ему в связи с этим вопросы, иногда прово-



цируя на возражение мне, он чаще всего только молча задумчиво смотрел, словно бы советуя мудро-размышляющим взглядом не превращать разговор в поспешное словопрение, а молча продолжить диалог и искать ответ внутри себя<sup>1</sup>. Но мне, конечно, всегда припоминалось (как категорический императив) толстовское «не могу молчать», да и процитированные С. Бочаровым слова Пушкина: «Минута, и стихи свободно потекут» — согласно бочаровскому комментарию, обращают внимание именно на «порог, который требует преодоления»<sup>2</sup>, как бы отсылая к закономерностям аритмологии, которую на рубеже XX века утверждал математик Н. Бугаев.

В 1962 году я вышла замуж за венгра Михая Силарда и покинула Москву, где остались мои два младших брата, которым Сережа всемерно помогал вплоть до ранней кончины обоих (невольнo вызывая в моем сознании ассоциации с Алешей Карамазовым в его заботах об Илюшечке, а потом и о его друзьях у Илюшина камня).

Но Бочаровы не переставали опекать и меня: всякий раз, когда я приезжала в Москву, в их доме меня всегда обогащали таким множеством всякого рода консультаций и просто материалов, необходимых для работы университетского преподавателя, что это неизменно вдохновляло на новые замыслы.

Особенно ценной, на мой взгляд, оказалась эта воодушевляющая помощь, когда мы в Будапештском университете (пользуясь неожиданными возможностями Венгерского издательства учебно-педагогической литературы «Танконьвкиадо») задумали выпустить серию пособий ком-

---

<sup>1</sup> Вполне понимающимся явился для меня тот факт, что предисловие к вышедшей в свет много позднее книге М. Виротайнен, с особым акцентом на зоне молчания, принадлежит перу С. Бочарова, см.: [Виротайнен 2003: 8].

<sup>2</sup> Приведенная цитата из предисловия С. Бочарова представляет собой внутреннюю цитату из главы «Речь и молчание у Пушкина» книги М. Виротайнен: «Пушкин — властелин языка, но граница между молчанием и речью для него порог, который требует преодоления» [Виротайнен 2003: 438].

плексного типа по русской литературе рубежа XIX—XX веков и советской эпохи. Думаю, что прежде всего благодаря официальному отзыву<sup>3</sup> и неофициальным советам С. Бочарова наши пособия оказались нужными в свое время не только в Венгрии: по крайней мере, по рассказам наших венгерских студентов, они, находясь в СССР на практике по языку, с успехом расширяли свои тамошние денежные возможности не только благодаря западным джинсам, но и благодаря нашим «учебным пособиям комплексного типа».

А когда началась бахтинская эпопея, мы из Венгрии старались посылить Серее публикацией венгерских переводов работ М. Бахтина, а также книг, статей и даже докладов в связи с выдвинутыми М. Бахтиным проблемами. Об этом упоминается в статье В. Махлина «“Замедление”: задача обратного перевода» [Махлин 2004].

Не могу простить себе, что, когда в один из моих очередных приездов в Москву Сережа предложил мне однажды вместе с ним навестить М. Бахтина, я, по до сих пор не понятной мне причине, решила, что не имею права утруждать столь чтимого мною философа своим присутствием, и отказалась. А Сережа, как обычно, молча принял это к сведению и не возразил, и даже не спросил: почему?..

Зато в доме у Бочаровых я по-прежнему имела возможность знакомиться и видаться с людьми, которым они так или иначе помогали и встреча с которыми для меня была поучительной и даже знаменательной.

Здесь я познакомилась с Юрой Мальцевым в тот самый теперь уже общеизвестный период, когда его преследовало абсурднейшее политически оформленное обвинение — из-за того, что он, специализируясь по итальянистике, но не получив разрешения посетить Италию, не мог понять, по-

---

<sup>3</sup> С. Бочаров был приглашен официально, венгерским министерством, отрецензировать наше двухтомное пособие «Русская литература конца XIX — начала XX века» (1981), а неофициально он рецензировал и снабжал советами также пособие «Русская поэзия советской эпохи» и многие другие наши издания на русском языке.

чему будущему специалисту не позволено непосредственно познакомиться с предметом своего изучения, и, разумеется, протестовал. В день этой встречи мудрая Ирочка поясняла ему его ситуацию и поддерживала его тактическими советами, а я была в состоянии только поддакивать...

И в этом же доме я впервые встретила Диму Приговым (ДАП-ом), которого Сережа, дружески улыбаясь ему, отрекомендовал мне так: «Дима вообще-то скульптор, но серьезно занимается он тем, что портит стихи». Рекомендация меня заинтересовала, и я спросила Диму, как он все это делает, на что последовал его ответ (воспроизвожу лишь приблизительно): «Скульптурой я вообще-то просто зарабатываю на жизнь, потому что главная форма моей работы — заготавливать модели двух вариантов Ленина для разных городов. Мы их зовем Фомич и Кузьмич, один — с кепкой на голове, другой — с кепкой в руке... А в стихотворных текстах я в основном беседую с известными или любимыми поэтами, например...» И Дима прочитал мне теперь уже знаменитый его «диалог» с А. Ахматовой «А, тебе голос был...». С того момента Дима стал для меня духовно особенно близким человеком... И только после инцидента с «бульдозерной выставкой» я узнала, что Дима уже давно хранил свои рукописи у Бочаровых, поскольку, как и Юра Мальцев (но не одновременно с ним), он подвергался опасности — из-за своего нестандартного поведения — застрять в психиатрической больнице. Однако от усердия советской психиатрии его спасла защита со стороны более знаменитых деятелей культуры — защита, которой не было у моего младшего брата, оказавшегося в провинции и обработанного там электрошоком. Именно этому моему младшему брату так беззаветно помогал Сережа, а Дима воздал должное его памяти в своем, кажется, не понятом большинством критиков, но примечательнейшем романе «Ренат и Дракон».

Вспоминая об этих событиях, я неизбежно погружаюсь в размышления о том, что остроумно было названо в одном из старых фильмов «невыносимой легкостью бытия» (по крайней мере, в русскоязычном переводе), но что в моем сознании преобразуется в: «невыносимая абсурдность российского бытия»...

В 1997 году я по приглашению университета в Сассари (и согласно решению итальянского Министерства высшего образования) возглавила кафедру русистики (а потом и славистики) на севере острова Сардиния. Что, разумеется, означало мгновенное расширение сферы бочаровских забот: Ирочки — проверка и уточнение используемых нами архивных данных, Сережи — прежде всего — осторожными советами и продуманными консультациями. Последнее было печатно зафиксировано появлением его имени во главе «Научного комитета», как это было обозначено в одном из наших сассаринских изданий, к сожалению, почти не проданных по финансовым причинам.

В последний раз мы виделись с Сережей, когда он приехал к нам летом на неделю в Альгеро вместе со своей дочерью Машей Бочаровой-Касьян, приятно поразившей моих сардинских друзей тем, что она всегда обращалась к ним на латыни. Разумеется, для Сережи в этом случае дело не обошлось без основательных консультаций. Одним из самых сосредоточенных и длительных было его собеседование — в доме Джоржо Сале — с Чечилией Пило Бойль ди Путифигари, которая уже защитила диссертацию PhD в нашей докторской программе университета Сассари, но теперь, поселившись (в связи с замужеством) в Петербурге, готовилась там к защите кандидатской диссертации под руководством известного и среди славистов Сардинии профессора Бориса Аверина (который в более широких сардинских кругах прославился как создатель «аверинского метода морских купаний в декабре»).

К сожалению, в один из дней действительного отдыха Сережа настолько стремительно бросился с обрыва к морю, что упал и почти весь следующий день (на который намечалась его поездка в долину знаменитых «нураге») вынужден был провести в травматологии города Альгеро, где выяснилось, что результатом его любви к обрывам у моря оказался перелом пальца правой руки, после чего (как мне сообщали уже из Москвы) Сереже сделалось трудно писать...

О кончине Сережи меня известил мой бывший дипломник Джузеппе Мусси, который однажды неожиданно появился у меня с — как он сказал — «срочным сообщением и вопросом». Сообщение было о том, что из

интернета он узнал о кончине С. Г. Бочарова, а вопрос: «Это — *наш* Бочаров?» На что я смогла лишь ответить: «Да, если написано С. Г., то это и *наш* Сергей Георгиевич Бочаров»...

Думалось: и наш, потому что и здесь оказалось действенным бочаровское искусство жить в литературоведении как в литературе, подобно облакам над морем, как это рисует метафора Грации Деледды — опережающий отклик на дилеммы Г. Гачева<sup>4</sup>. И вместе с тем вспоминалось:

О милых спутниках, которые наш свет  
Своим сопутствием для нас животворили,  
Не говори с тоской: *их нет*,  
Но с благодарностью: *были*.

## Сад расходящихся тропок: С. Г. Бочаров о Гоголе

### Екатерина Евгеньевна Дмитриева

доктор филологических наук

Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН

(121069, Россия, г. Москва, ул. Поварская, д. 25а;

email: katiadmitrieva@mail.ru)

Об интеллектуальном наследии С. Бочарова писать не-легко: в первую очередь, потому, что так высок и одновременно захватывающе прост его слог, так увлекательна мысль, за извилами которой следить уже само по себе удовольствие, что, наверное, лучшим ему *in memoriam* могло бы стать своего рода поурри из его собственных текстов.

---

<sup>4</sup> Я имею в виду дилеммы статьи Г. Гачева «Теон и Эсхин. Бочаров и я» [Гачев 2004]. Особенно любопытно размышление об «избрании вектора»: «не вниз, к земле... а ввысь: в Дух, в душевность...» (что утверждалось уже многими философами духа, а в России начала XX века — и Н. Бердяевым, и Вяч. Ивановым, и многими другими).

Когда пытаешься понять, что составляет особенность С. Бочарова как литературного критика, историка литературы (и, конечно же, философа), то приходят на ум его слова, сказанные им по поводу его друга, писателя-филолога, которого он безмерно любил и уважал — Андрея Битова: «Кто такой филолог? Это *читатель*, особым образом просвещенный, квалифицированный и по идее лучший читатель текстов литературы — уже потом исследователь, а прежде читатель» [Бочаров 2007: 617]. Да и устно С. Г. любил говорить о читательской миссии филологии. Скромность ли это, которая присуща только поистине талантливому человеку, или высшая мудрость? Думаю, что и то и другое, но в первую очередь все же мудрость. Ведь, что греха таить, при том мощном взрыве критической мысли, который мы ныне переживаем, надо признать: люди разучились читать. И предпочитают чтению текста чтение того, что о нем уже написано. В первую очередь потому, что не видят сам текст, его движение. Размышления о дискурсах, проектах, стратегиях (слова, которые, слава Богу, у С. Бочарова просто отсутствуют) заменили толкование, в котором испокон веков люди в общем-то нуждались.

Сам С. Бочаров читать любил. И читал много. С неподдельным интересом. Собственно, это становится совершенно очевидным, стоит открыть его книги. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Тютчев, Леонтьев, Ходасевич, Толстой, Битов, Юз Алешковский, Пруст... Перечисление это можно было бы еще долго продолжать. А когда начинаешь читать эту мозаику подряд (которая, собственно, мозаикой показаться может лишь на первый взгляд), то понимаешь, насколько внутренне взаимосвязаны все эти разрозненные сюжеты, являя собой главы одной большой книги, *глубинным* (любимое слово С. Г.) сюжетом которой является бытие культуры. Так что не будучи филологом монографичным (и в самом деле, С. Бочаров, при его удивительной творческой плодовитости, явно предпочитал жанру монографии жанр статьи), можно сказать, что свою монографию (монографии) он создал. Я имею в виду прежде всего издания последних десятилетий: «Сюжеты русской литературы» (1999), «Филологические сюжеты» (2007), «Генетическая память литературы» (2012).

Но также и более раннюю книгу «О художественных мирах» (1985). И не случайны в них повторения — той или иной мысли, того или иного наблюдения, — встречающиеся в разных главах-статьях, но каждый раз в новом контексте, — результат не механического их сложения, но той полифонии мысли, которая для С. Бочарова, ученика (в высшем смысле этого слова) М. Бахтина, была в особенности важна.

Сложилось так, что я имела возможность — счастье, которое, как это часто бывает, не всегда в полной мере осознается — работать на протяжении ряда лет вместе с С. Г. в группе по изданию нового академического собрания сочинений Гоголя. А потому далее речь пойдет о С. Г. как исследователе Гоголя.

Если попытаться вспомнить его работы, собственно Гоголю посвященные, то помимо прекрасного тома «Арабесок», подготовленного С. Г. вместе с Л. Дерюгиной в составе Полного собрания сочинений и писем (том 3, 2004), и начатого (увы, незаконченного) тома так называемых «Петербургских повестей» (том 6), приходят на ум: одна из наиболее ранних его крупных работ «О стиле Гоголя» [Бочаров 1976], «О негативной антропологии Гоголя», «Два ухода: Гоголь, Толстой», ну и конечно, ставшие уже абсолютной классикой статьи «“Красавица мира”. Женская красота у Гоголя» [Бочаров 2007: 147–173] и «Загадка “Носа” и тайна лица» [Бочаров 1985: 124–160], получившая развитие и продолжение в более поздней работе «Вокруг “Носа”» [Бочаров 2007: 174–198]. Да только гоголевская тема у него этим отнюдь не исчерпывается.

На самом деле, Гоголь становится для С. Бочарова весомой точкой отсчета, и когда он пишет о Пушкине, и когда размышляет о Толстом или Достоевском. Гоголь — один из сочинителей мифа о Пушкине как поэте, наделенном «магической властью творца миропорядка», — мифа, подхваченного затем Аполлоном Григорьевым и столь крепко вошедшим в русское самосознание, что до сих пор мы оказываемся в его плену (см: [Бочаров 2007: 11–12]). Но и когда С. Г. размышляет о собственно пушкинской прозе, ему не просто оказывается важна гоголевская формула «бездна пространства» (речь идет о суждении Гоголя

о Пушкине: «В каждом слове бездна пространства: каждое слово необъятно, как поэт») [Бочаров 2007: 100], но также и гоголевский «фон», только и позволяющий приблизиться к пониманию Пушкина. Только на фоне «плотных сказовых фигур или масок», которые вводит в свою прозу Гоголь, становится ощутима «нечувствительность», прозрачность сонма пушкинских рассказчиков (речь идет о «Повестях Белкина»), присутствующих «как живое пространство самооткрывающейся в своих голосах действительности» [Бочаров 2007: 104]. А в работе «О смысле “Гробовщика”» становится важным показать, как обращение в 1919 году Б. Эйхенбаума к «Болдинским побасенкам Пушкина», в которых «философия не поместилась» и которые стали оттого выигрышным материалом для выработки опоязовских принципов анализа произведения, подготовили его знаменитый анализ «Шинели». Последняя — в отличие от «Повестей Белкина» — была как раз-то «идеей отягощена» [Бочаров 2007: 70–71].

Казалось бы, С. Бочаров пишет о «Пиковой даме» и даже делает вполне предсказуемое отступление в сторону «Красного и черного» Стендаля. Но только вторым поводом для «отступления» неожиданно оказывается гоголевский «Вий». Впрочем, это отступление — «не сопоставление, а только свободная параллель, синхронное “Пиковой Даме” событие» [Бочаров 2007: 137]. Никто до С. Г., кажется, не сопоставлял эти две повести, где есть и фантастический женский образ, распадающийся на образ красавицы и старухи-ведьмы, и мотив испытания, которое оба героя не выдерживают, и «сюжет личный, душевный», как для Пушкина, так и для самого Гоголя, который «ситуацию избранности» не по заслугам «навесил на бедного бурсака-философа» — а «вскоре еще не такое он захочет навесить на Чичикова и Плюшкина» [Бочаров 2007: 141].

Но, помимо множества открываемых при таком сопоставлении в обоих произведениях новых смыслов, мне хочется обратить внимание на сам подход Бочарова к тому, что сам он называет «свободной параллелью», или «синхронным событием». В наш век, когда компаративные исследования в самых разнообразных формах и модификациях завоевывают все большее исследовательское пространство,



С. Бочаров ненавязчиво предлагает иной метод, а точнее подход. Его не слишком интересует, кто у кого заимствовал и как это заимствование проходило. Правильнее сказать, почти не интересует. В статье «Вокруг “Носа”» он отдает должное энциклопедической эрудиции В. Виноградова, собравшего «много полезного материала и живых замечаний» о возможных источниках гоголевской носологии, но перед загадкой повести «Нос» оставшегося «так же бессильным, как персонажи повести перед тем, что в ней происходит» [Бочаров 2007: 175]. Подобный анализ для С. Г. «близорук», поскольку он «не выходит из круга мнимого действия повести» [Бочаров 2007: 175]. Не блистательно учена работа Виноградова, но тексты иного порядка — труды П. Флоренского («Столп и утверждение Истины», «У водоразделов мысли») — помогают ему приоткрыть «тайну носа» — а вместе с тем тайну гоголевской антропологии, тайну «образа лица человека у Гоголя».

С. Бочарову близок иной подход — тот, что С. Аверинцев именовал «высшей математикой гуманитарных наук» — учет той традиции, что «за спиной» и которая «транслируется и усваивается иногда путями уследимыми, а чаще неуследимыми» [Бочаров 2007: 155]. И потому платоновская философия определяет, по мысли Бочарова, не только две линии фабулы «Невского проспекта» (Афродиту-Уранию и Афродиту-Пандемос) [Бочаров 2007: 156]. Значительно неожиданнее для нас, что Платон присутствует в «вечной идее будущей шинели» Акакия Акакиевича и в «припоминании» Чичикова перед губернаторской дочкой [Бочаров 2007: 155, 158]. С. Бочаров не ставит вопрос о явной или скрытой аллюзии или референции и даже не слишком интересуется тем, насколько (в данном случае) Платон был релевантен для Гоголя-художника. Вопрос поставлен менее «в лоб» — но значительно глубже: речь идет о живом теле культуры, которая, возможно, и без сознательной на то воли автора, пронизывает его произведения, равно как и позволяет читателю вычитывать в них сокрытое. При таком подходе Гоголя может объяснять не только Платон, но и философ уже XX века — Флоренский (наверное, это можно было бы сравнить со знаменитым эпизодом из романа Новалиса

«Генрих фон Офтердинген», где герой, попадая в пещеру отшельника, видит книгу, в которой читает свое одновременно прошлое и будущее). Но и в том, и в другом случае идет непрекращающийся диалог между собой авторов и их интерпретаторов, только и позволяющий дойти до самых глубинных вопросов и не дать окостенеть в ригористичности однажды вынесенных суждений.

Видимо, по той же самой причине Гоголь, становясь камертоном в работах, казалось бы, ему не посвященных, одновременно провоцирует на предельно широкий культурный диалог в тех, что посвящены именно ему. И. Анненский, В. Топоров, Т. Манн, Иоанн Златоуст, А. Пушкин, А. Бухарев, В. Лосский, К. Юнг, С. Аверинцев, Г. Сковорода — вот далеко неполный список тех, кто вступают между собой в диалог вокруг гоголевского «Носа». И это обилие имен отнюдь не начетничество, не симулякр эрудиции — но именно тот живой механизм культуры, который, возможно, и есть единственное оправдание ее существования.

Чтобы понять что-то в драме Гоголя, предшествовавшей его кончине, оказывается необходимым соположить с ней иную драму и иной уход — Л. Н. Толстого из Ясной Поляны (статья «Два ухода: Гоголь, Толстой»). К метатексту русской литературы, ее глубинному мифу дает ключ прочтение письма Макара Девушкина с его обидой на Гоголя и испытанным при чтении «Шинели» стыдом. А это возвращает нас «к изначальным истокам истории — Книги Бытия» — но одновременно и к Вл. Соловьеву, ведь это он перефразировал известное: «я стыжусь — я существую» (статья «Холод, стыд и свобода») [Бочаров 2007: 204].

Целомудренная<sup>1</sup> попытка дойти до «бездонных смыслов» гоголевского письма при полном понимании тех пре-

---

<sup>1</sup> Свидетельство исследовательского целомудрия С. Бочарова — отношение к проблеме гоголевского автобиографизма, — тема, по видимому, и для самого Бочарова очень личная. Взгляд Гоголя на себя — тема «глубокая и таинственная, автозеркальная, до которой наш взгляд на Гоголя не углубился еще <...> Наш взгляд слишком внешний, и сейчас я тоже не могу в эту тайну художника углубляться» [Бочаров 2012: 86].

делов, которые подобному желанию положены, — вот, пожалуй, то, что отличает научный стиль С. Бочарова. Если задать вопросом, что нового он сказал о Гоголе, то, наверное, один из возможных ответов будет: он сказал о Гоголе то, *чего* до него никто не говорил. И, главное, *как* никто не говорил. Потому что уход от штампов — нашего собственного сознания и тех, что навязаны нам культурой (именно поэтому С. Г. так отчаянно стремится поддерживать ее в постоянном движении), — еще одна примета бочаровского письма.

В нашем современном мире, где по негласным законам каждый — будь то художник, писатель, критик, артист — должен найти свою нишу, С. Бочаров оказывается словно вне игры. Его ниша — это он сам, ниша «просвещенного читателя», ведущего и увлекающего ходом своей мысли других. Как будто бы выпадающего из эпохи. Но так ли это?

Ведь на самом деле, если все же попытаться найти «этикетку» его неповторимому, абсолютно узнаваемому стилю, то поневоле напрашивается: да ведь это *сад расходящихся тропок*. Они же смыслы. Они же — пути существования в культуре. Возвращающие нас — вопреки всем утверждениям о смерти автора и лживости и недостаточности слова — именно к тайне авторства, единственной формой выражения которого в конечном счете *слово* только и может быть.

## Потом пришел Леонтьев

### Владимир Алексеевич Котельников

доктор филологических наук

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

(199034, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4;

email: vladiko@VK9485.spb.edu)

Кто учился в шестидесятые годы, помнит вошедшую тогда в его филологическое образование имлийскую трехтомную теорию литературы и, несомненно, особо заметный в ней написанный С. Бочаровым раздел «Характеры и обстоятельства». С тех пор я уже не упустил этого

автора из вида и к важным событиям в литературоведении относил каждую его статью: об «архитектуре смысла» в «Дон Кихоте», о «Гробовщике», о Боратынском, Гоголе, Достоевском, Л. Толстом, Платонове и так далее, до последних его работ. Было очевидно, что в них продолжается линия русской филологии двадцатых-тридцатых годов с ее точной и экономной интерпретацией текста. Ссылаться на Бочарова было хорошим тоном, но работать на его уровне доступно было не каждому.

С Сергеем Георгиевичем я впервые встретился в 1975 году у него дома на Профсоюзной. Говорили о Бахтине, о Прусте. А вскоре в «Контексте-1977» появилась замечательная его статья, которая открыла и определила мало кому известную в полном объеме деятельность К. Леонтьева-критика. «Эстетическое охранение» — таково данное автором определение и название статьи. С ней пришел к нам Леонтьев. Затем последовали статьи в «Вопросах литературы» (1988, № 12; 1993, № 6; 1999, № 2–3) и прочие.

Предложенные Бочаровым постановка и освещение этой фигуры показали, что критический ум Леонтьева, который он не мог и не хотел «упростить», и его эстетические принципы находятся в сложных отношениях с русской литературой и мыслью. Для меня это стало сильным стимулом основательней заняться наследием Леонтьева. Издав в 1991 году том его беллетристики и воспоминаний, я задумал подготовить академическое полное собрание сочинений и писем. В конце девяностых мы обсуждали у Н. Котрелева план будущего издания, и Сергей Георгиевич, разумеется, вошел в его ряды. Ныне вышла вторая книга десятого тома, и, видимо, двенадцатитомное наше собрание будет состоять из восемнадцати книг.

Бочаров совершенно верно увидел в эстетике Леонтьева «категорию не философии искусства прежде всего, но леонтьевской *философии жизни*» [Бочаров 1999: 287]. Это основополагающее утверждение, и я хочу привести некоторые подтверждающие правоту Бочарова подробности.

Действительно, достижение эстетического идеала, по Леонтьеву, — прежде всего *жизненная* задача и только потом, при условии и по мере решения ее, — задача искусства. Требования его эстетики обращены к жизни, и пре-

красному в жизни отдано безусловное первенство (в чем Бочаров усматривал близость Леонтьева к Чернышевскому). Леонтьев убежден, что в самой жизни, природной и человеческой, «естественно-исторически» возникают и развиваются формы красоты. Он однажды перечисляет типиформы жизненно-прекрасного: «все изящное, глубокое, выдающееся чем-нибудь, и наивное, и утонченное, и первобытное, и капризно-развитое, и блестящее, и дикое». С прискорбием признает он, что теперь все это «одинаково *отходит*, — отступает перед твердым напором этих *серых* средних людей. Но зачем же обнаруживать по этому поводу холопскую радость?..» Как то делают эстетически «серые» либералы и демократы, — как раз развитие, упрочение и сохранение этих форм прекрасного — не в отражениях искусства, а в действительности — есть первая задача цивилизации.

В предшествующей искусству области жизнетворчества Леонтьев на первое место ставил тех, кто воплощает и реализует такую волю в государственном и социокультурном формообразовании — это священник и воин, поэтому «благо тому государству, где преобладают эти “жрецы и воины” (Епископы, духовные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором первенствуют “софист и ритор” (профессор и адвокат)». Лишь тогда, когда жизнь является собой доходящее до края напряжение «интересов и страстей» с их трагическими столкновениями, — лишь тогда жизнь создает великолепные формы; так, по Леонтьеву, творит художник-история. А возделенная для многих «гармония не есть мирный унисон, а плодотворная, чреватая творчеством по временам и жестокая борьба. Такова и гармония самой внечеловеческой природы...».

Развивая «натурфилософский» аспект своей эстетики, Леонтьев считал, что в природе, в ее законах и формах находятся истоки жизненной и творческой деятельности человека, но этим значение природы для него не ограничивается. Она, замечал Леонтьев в обращенном к А. Фету эпистолярном очерке, как будто намекает еще и на идеальные ценности, на онтологическое богатство, из природы нечто говорит поверх жизненной целесообразности, как то происходит у растений: «Красивые цветы совсем не нужны

им для ближайшей цели <...> *Это не для них самих. Это роскошь, это избыток сил прекрасного, это — поэзия*». Красота выступает из природного тела, но раскрывается как безусловная ценность на его бытийной границе — в подобном представлении Леонтьев оказывался в согласии с Плотинном: прекрасное есть «цветущее на бытии». Правда, к таким метафизическим горизонтам, лежащим далеко за пределами «натуралистической» почвы, Леонтьев почти никогда не выходил, но, и не покидая возросший на той почве эстетический «сад жизни», он иногда за земную ограду его заглядывал.

Главенствующим принципом организации леонтьевского мира выступал тот *порядок*, который может быть соотнесен — используя понятие греческой классической эстетики — с разумно-прекрасным (*καλολογικός*) устройством пластического космоса; у Леонтьева первоначально — с устройством его подобия, домашнего и социального микрокосма, который окружал его в детстве (материнское имение Кудиново) и влечение к которому он сохранял в течение жизни. «Я всегда по природе был пластик, Вы знаете, “эллины” (как Вы говаривали)», — напоминал он К. Губастову. С этим микрокосмом связана первичная эстетическая интуиция Леонтьева, соответствие которой есть в античности — это космологическая эстетика греков. И исходным материалом чувственной эстетики Леонтьева было как раз телесно-пластическое содержание мира, рассматриваемое им уже не в мифологических, а в природно-органических, исторических, государственно-общественных, этнокультурных, художественных формах. Впрочем, есть у него соответствия и с доклассической эстетикой.

Основным в мироотношении Леонтьева оставалось одно устойчивое предпочтение: «...во мне неискоренимо было то живое эстетическое чувство, которое больше дорожит поэзией действительной жизни, чем художественным совершенством ее литературных отражений!» Стоит заметить, что его эстетическим отношением к миру управляло обостренное *чувство ценного* — абсолютно ценного в бытии и первостепенно ценного в природе, в человеке, в культуре, в общественно-исторической жизни. Именно *чувство* — он отводил ему ведущую роль и в познании, ибо «чувство пре-

дугадывает нередко будущую умственную истину, какого бы то ни было порядка: религиозного, политического, научного». Кроме того, основное чувство как оценочный психический акт у Леонтьева нередко соединялось с *чувственностью* — телесно возбуждающим желанием и предвкушением наслаждения, которое вызывается объектами чувства; а когда эти объекты чувства становились и объектами мысли — возникала леонтьевская «страстная эстетика». Интеллектуальная рефлексия в эстетике Леонтьева следует «логике чувств» и поддерживает ее, но никогда не составляет самостоятельной философско-эстетической системы, которая необходимо исключает субъективно-эмоциональные суждения. Если среди критиков еще можно указать тех, кто действовал на основании подобной «логики чувств» (и ближайшим из них был Ап. Григорьев), то среди эстетиков (не только русских) Леонтьев с названным свойством оказывался единственным.

Двумя путями шел Леонтьев в критике. Первоначальный и обычный — осмысление собственного участия в современном литературном движении, уяснение творческих задач и приемов других писателей, выявление стилевых тенденций, идейных направлений в текущей словесности. Другой — особый, только Леонтьевым пролагавшийся в XIX веке, — путь указанного Бочаровым «эстетического охранения» — но охранения не искусства («Чорт его возьми, искусство — без *жизни!*..» — говорил критик), а *жизни* через искусство, через литературу. С отчаянием наблюдая неотвратимую деэстетизацию жизни, он переносил свои надежды (слабевшие со временем) на гипотетическую «независимую, оригинальную, богатую даже и внешними формами, великорусскую культуру» (которая его непомерных надежд не оправдала), преимущественно же — на русскую литературу — единственное и последнее (как ему казалось в условиях интервенции революционно-демократических и либеральных сил) прибежище правды и красоты, где они сохранятся для жизни. «Сквозь литературу» Леонтьев не продвигался как исследователь с целью изучения имманентных ее процессов — сквозь литературу он вглядывался в действительность, которая за ней стояла и которая волновала его больше, чем романы и стихи. «Литературный

факт» — автор, персонаж, сюжет, прием — был значим для него не только (зачастую и не столько) как момент творчества или литературной эволюции, сколько как отсылка к жизненному явлению, с ценностью которого Леонтьев соизмерял ценность литературного факта, и ничто ему не препятствовало уподоблять персонажа реальному человеку (хотя бы и в «собирательном» виде) и ценностно сопоставлять с ними реального писателя — не в пользу последнего, а в пользу жизни. «Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека», — полагал он. И ведь оказался прав: через тридцать лет Вронские вступили в «белую гвардию», потом ушли в эмиграцию, и вся прежняя «история прекратила течение свое» (М. Салтыков-Щедрин); распались не только прежние эстетические формы, но разложилось на докультурные элементы само «вещество существования» (выражение это Бочаров сделал заглавием статьи о Платонове). Вообще же леонтьевские суждения клонятся к тому неписаному, но явному итогу, что значение всей словесно-художественной деятельности в России оказалось чрезмерно преувеличенным — в ущерб значению общественно-исторической жизни. Окончательно итог был подведен позже В. Розановым, продлившим в «Апокалипсисе нашего времени» некоторые мнения Леонтьева.

## Три выстрела: об одном генетическом ряде русской литературы

**Павел Сергеевич Глушаков**

доктор филологических наук

литературовед

(Латвия, Рига, ул. Гара, д. 23; email: glushakovp@mail.ru)

Прошел год со дня ухода выдающегося русского литературоведа Сергея Георгиевича Бочарова. Среди глубоких мыслей, пронизательных суждений и догадок ученого выделяется идея о генетической памяти литературы



[Бочаров 2012: 7–44]. К этой идее С. Бочаров шел долго, в его словоупотреблении можно найти и другие, близкие понятия: «генетическая связь», «генетические процессы», «генетический ряд» (героев) и тут же упоминание о «генеалогическом древе», а также совершенно уже метафорическое упоминание о — «силе генетической литературной памяти» [Бочаров 1999: 8, 172].

Не здесь и не сейчас вдаваться в рассуждения о доказательности или уязвимости этой идеи, наша заметка не теоретическая, а мемориальная. Развитие идей С. Бочарова — задача и долг литературоведческой науки, сейчас же в этой краткой заметке, посвященной памяти Сергея Георгиевича, хотелось бы высказать предположение, что даже чрезвычайно удаленные от «источника»<sup>1</sup> *приращения смысла* произведения так или иначе могут нести в себе идейные или структурные элементы этого первоисточника, «восходить» к нему. Процесс «выведения» такого рода исходного текста диахроничен, сродни этимологическому исследованию. В большинстве своем, что естественно, более поздние тексты (или их элементы) подвергаются «семантическому расшатыванию», иногда происходит смена векторов («высокий» источник порождает профанический текст, и наоборот), при этом позднее произведение (как и его автор) может вовсе не «подозревать» о такого рода текстовой метаморфозе.

---

<sup>1</sup> Под «источником», видимо, надо понимать не то произведение, которое является «образцовым» (самым известным, канонизированным), а то, которое дало миру некое явление в его феноменологической первооснове (самый известный пример тут — рыцарские романы и «Дон Кихот»). При этом по сравнению с остальными типологически однородными примерами этот единичный феномен отличается мутацией смысла: персонаж такого произведения поступает однажды вопреки читательскому ожиданию и писательскому канону. Тем самым он действует как живой человек, а не литературная функция. Поэтому можно сказать, что «источником» может быть названо произведение, где впервые реализуется непредсказуемость и свобода человеческой личности. Из этого феномена (взятого из жизни или из фантазии художника — иногда первооснову здесь определить более чем непросто) выходит на свет двусоставное явление: литературное

В написанном в 1967 году рассказе В. Шукшина «Миль пардон, мадам!»<sup>2</sup> рассказывается история странного персонажа — Броньки Пупкова. Центральное место занимает эпизод, когда герой повествует о неудачном выстреле в Гитлера:

— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»... Он улыбался. И тут я рванул пакет... Смейся, гад! Давай получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. — Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. — Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!! — Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина... И шепот, торопливый, почти невнятный: — Я стрелил... — Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит: — Я промахнулся.

Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь — нехорошо.

Буквально на глазах читателей шукшинского произведения происходит удивительное явление: если на первых страницах кажется, что перед нами враль и пустомеля, то

---

произведение и жизненный «образец» одновременно. Этот «пучок» нового, таким образом, в дальнейшем воздействует как на саму жизнь, так и на часть жизни — литературу.

<sup>2</sup> Кажется, остался незамеченным явственный парадокс заглавия этого рассказа: Бронька повествует о происшествии, которое случилось с ним в Берлине, подчеркивает, что говорит на «чистом» немецком языке (ироническим «подтверждением» чему служат фразы «хайль Гитлер!» и «фьюэр»), однако весь текст назван *французской* фразой. Нет ли здесь того загадочного по своей «механике» *припоминания*, в данном случае — чисто языкового: французская речь, естественно, сопровождает как героев Чехова, так и Пушкина. Кроме этого, сюжет Шукшина определенно связан с рассказом генерала Иволгина о встрече с Наполеоном; этот пласт шукшинского текста нуждается в совершенно отдельном рассмотрении.

после эмоционального описания покушения интенция рассказа существенно меняется. У слушателей монолога Броньки (и у читателей рассказа) возникает ощущение какой-то *высшей правоты* героя, но одновременно сама структурная ситуация отмщения, неудачного выстрела в некоего соперника (точнее, врага) почти неминуемо ведет к «припоминанию» аналогичных примеров в истории и литературе.

Отдаленный по времени пример сравнительно легко обнаруживается в третьем действии чеховского «Дяди Вани»: здесь уже слышны два выстрела, и оба мимо. Первый выстрел слышен за сценой, тогда как второй вынесен к зрителям:

В о й н и ц к и й. Пустите, Helene! Пустите меня! (*Освободившись, вбегает и ищет глазами Серебрякова.*) Где он? А, вот он! (*Стреляет в него.*) Бац!

*Пауза.*

Не попал? Опять промах?! (*С гневом.*) А черт, черт... черт бы побрал... (*Бьет револьвером об пол и в изнеможении садится на стул.*)<sup>3</sup>

В этой сцене Войницкий нелеп, почти смешон, однако опять перед нами пример высшей правоты персонажа, его выстрел не убивает человека, скорее поражен *сам* герой.

---

<sup>3</sup> Укажем также на следующую любопытную параллель к изучению чеховских «припоминаний» из Пушкина: как известно, в «Вишневом саде» Гаев обращается с монологом к книжному шкафу. Но в некотором роде Гаев договаривает то, что (пусть и не в такой риторической манере) мог бы сказать умирающий Пушкин, обращаясь, как известно, к книжным полкам своей библиотеки «Прощайте, друзья!» (см.: [Последний... 1990: 494]). Однако к этому «диалогу» можно подключить еще одного собеседника — А. Блока с его последним стихотворением «Пушкинскому Дому» (тоже в некотором роде обращение к предмету), в котором уловлены какие-то, казалось бы, неуловимые переключки. У Чехова: «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование <...> твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет...» У Блока: «Пушкин! Тайную свободу / Пели мы вослед тебе! / Дай нам руку в непогоду, / Помог в немой борьбе!» Так обретают некоторое единство чеховский *молчаливый призыв* и блоковская *немая борьба*.

Как ни парадоксально, но в образе Ивана Петровича Войницкого можно разглядеть некоторые черты шукшинского чудака Бронислава Пупкова. И один, и другой типичные неудачники; окружающие зовут их уменьшительными именами: Ваня и Бронька. Оба они могли бы иметь иную судьбу, однако этого не случилось, и это драматическое расхождение как бы компенсируется их мечтательной риторикой. У Чехова: «Я талантлив, умен, смел... Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский... Я зарпортовался!» У Шукшина: «Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись. Я говорю, если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича <...> Глаза у Броньки сухо горят, как угольки, поблескивают».

Думается, что эти сюжеты восходят к судьбоносному событию русской культуры — последней дуэли Пушкина:

Все было готово. Противники встали на свои места. Дан-зас махнул шляпой, и они начали сходитьсь. Пушкин сразу подошел вплотную к своему барьеру. Дантес выстрелил, не дойдя одного шага до барьера.

Пушкин упал.

— Я ранен, — сказал он.

Пуля, раздробив кость верхней части правой ноги у соединения с тазом, глубоко ушла в живот и там остановилась, смертельно ранив.

Секунданты бросились к Пушкину, но когда Дантес хотел подойти, он остановил его:

— Подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел...

Дантес стал на свое место боком, прикрыв грудь правой рукой. На коленях, полулежа, опираясь на левую руку, Пушкин выстрелил. Пуля, не задев кости, пробила Дантесу руку и, по свидетельству современников, ударившись в пуговицу, отскочила. Видя, что Дантес упал, Пушкин спросил у д'Аршиака:

— Убил я его?

— Нет, — ответил тот, — вы его ранили в руку.

— Странно, — сказал Пушкин. — Я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем<sup>4</sup> [Щеголев 1987: 226].

Это рассказ о дуэли из письма П. Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу от 14 февраля 1837 года. И пусть источник такого описания дуэли мифологизирован, тем не менее именно такую версию «неудавшегося выстрела» (выстрел-ответ, выстрел-мщение, неудача, ценность которой *выше* иного успеха) и восприняла русская литература.

Мотив отмщения за гибель Пушкина неминуемо включает в смысловое поле еще одно произведение — лермонтовское «Смерть Поэта», становящееся исключительным текстом-медиатором при возникновении подобной темы. Воздействие стихотворения Лермонтова на текстовую ткань рассказа Шукшина чрезвычайно велико, перед нами не имплицитные аллюзии, а прямые цитатные знаки. Сознательно или нет, в шукшинском произведении возникает прямое манифестирование лермонтовских слов, при этом перед нами, скорее всего, не «обнаженный прием», а именно генетическая — в данном случае метафоричность тут почти реализуется буквально — *кровная связь*.

У Лермонтова: «Что ж? веселитесь... — он мучений /  
Последних вынести не мог <...> Смеясь, он дерзко презирал /  
Земли чужой язык и нравы; / Не мог шадить он

---

<sup>4</sup> Вариант чеховской «Дуэли», в которой также звучит неудачный ответный выстрел: «— У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца, — сказал фон Корен, — но вы крикнули мне под руку и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна с непривычки и утомила меня, дьякон. Я ужасно ослабел. Поедемте...» Этот же сюжет в свою очередь вновь актуализирует память о Пушкине, когда в «Капитанской дочке» Гринев, готовый уже поразить Швабрина на поединке, получает коварный удар именно из-за того, что «услышал свое имя, громко произнесенное» от внезапно появившегося Савельича. Таким образом, перед нами не столько «генетический ряд» (понятие все же линейное), сколько сложная система взаимоотношений и ассоциаций.

нашей славы; / Не мог понять в сей миг кровавый, / На что он руку поднимал!.. <...> И вы не смоее всей вашей черной кровью / Поэта праведную кровь!» У Шукшина: «...Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. <...> Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!!» В стихотворении создается «анафорический каталог» обвинений, предъявляемых «наперсникам разврата». Этот же стихотворный прием использует Шукшин, формальным материалом для него служит популярная песня на слова В. Гусева «Марш артиллеристов».

Русская литература запомнила два варианта судьбоносных выстрелов. Первый — тот, когда «в руке не дрогнул пистолет». (Примыкающим, но не абсолютно, к этому варианту сюжетом является выстрел Печорина на дуэли с Грушницким.) Второй — «неудачный» ответный выстрел. (Тут же могут быть рассмотрены подварианты, когда ответный выстрел так и не прозвучал: пушкинский «Выстрел» и «Отцы и дети» Тургенева.) В генетической памяти культуры остались оба варианта, первый литература *приняла*, но *полюбила* она только второй вариант, имеющий все же свой предельный источник — заповедь «Не убий!».

Однако в этом мотиве есть еще одна составляющая: неминуемость «грозного суда». Этот сюжет не столько дуэльный (когда шансы обоих участников равны, у них есть возможность поразить друг друга в соответствии с правилами), сколько «отмстительный» (это покушение на жизнь того человека, с которым невозможно разрешить нравственный спор механизмами честного поединка). Эту линию — слова умирающего Пушкина («снова начнем») — подхватили и тем самым реализовали такие разные герои, как Иван Петрович Войничский и Бронислав Иванович Пупков, *Ваня* и *Бронька*. 1837 — 1896 — 1967. Таков один из *генетических рядов* русской литературы.

## Литература

- Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М.: Наука, 1974.
- Бочаров С. Г. О стиле Гоголя // Типология стиливого развития нового времени: Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле / Отв. ред. Я. Эльсберг. М.: Наука, 1976. С. 409–445.
- Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985.
- Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Бочаров С. Г. Филологические сюжеты. М.: Языки славянских культур, 2007.
- Бочаров С. Генетическая память литературы. М.: РГГУ, 2012.
- Бочаров С. Вещество существования. Филологические этюды. М.: Русский мир, 2014.
- Виролайнен М. Речь и молчание. СПб.: Амфора, 2003.
- Гачев Г. Д. Теон и Эсхин. Бочаров и я // Литературоведение как литература. Сборник в честь С. Г. Бочарова / Под ред. И. Поповой. М.: Языки славянских культур, 2004. С. 485–508.
- Мани Ю. В. «Память-счастье, как и память-боль...»: Воспоминания, документы, письма. М.: РГГУ, 2014.
- Махлин В. Л. «Замедление»: задача обратного перевода // Литературоведение как литература. Сборник в честь С. Г. Бочарова. 2004. С. 394–417.
- Последний год жизни Пушкина / Сост. В. Кунин. М.: Правда, 1990.
- Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. М., Книга, 1987.

## References

- Bocharov, S. (1974). *Pushkin's poetics. Essays*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Bocharov, S. (1976). On Gogol's style. In: Y. Elsberg, ed., *Typology of the stylistic development in the modern era: Classical style. Harmony and disharmony in style*. Moscow: Nauka, pp. 409-445. (In Russ.)

Bocharov, S. (1985). *On aesthetic worlds*. Moscow: Sovetskaya Rossiya. (In Russ.)

Bocharov, S. (1999). *The plots of Russian literature*. Moscow: Yazyki russkoy kultury. (In Russ.)

Bocharov, S. (2007). *Philological plots*. Moscow: Yazyki slavyanskikh kultur. (In Russ.)

Bocharov, S. (2012). *The genetic memory of literature*. Moscow: RGGU. (In Russ.)

Bocharov, S. (2014). *The substance of existence. Philological studies*. Moscow: Russkiy mir. (In Russ.)

Gachev, G. (2004). Theon and Aeschines. Bocharov and me. In: I. Popova, ed., *Literary studies as literature. A collection in honour of S. G. Bocharov*. Moscow: Yazyki slavyanskikh kultur, pp. 485-508. (In Russ.)

Kunin, V., ed. (1990). *Pushkin's last year*. Moscow: Pravda.

Makhlin, V. (2004). 'Slowdown': the purpose of reverse translation. In: I. Popova, ed., *Literary studies as literature. A collection in honour of S. G. Bocharov*. Moscow: Yazyki slavyanskikh kultur, pp. 394-417. (In Russ.)

Mann, Y. (2014). *'Happy memories, just like the painful ones...': Reminiscences, documents, letters*. Moscow: RGGU. (In Russ.)

Shchegolev, P. (1987). *Pushkin's duel and death: Research and materials*. Moscow: Kniga. (In Russ.)

Virolaynen, M. (2003). *Word and silence*. St. Petersburg: Amfora. (In Russ.)

## On aesthetic worlds of Sergey G. Bocharov

DOI: 10.31425/0042-8795-2018-3-259-300

### Boris F. Egorov

Doctor of Philology

St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences

(7 Petrozavodskaya St., St. Petersburg, 197110, Russia;

email: borfed@mail.ru)



### **Yury V. Mann**

Doctor of Philology

Russian State University for the Humanities

(6 Miusskaya Sq., Moscow, 125993, Russia; email: ymann@si.ru)

### **Dmitry M. Urnov**

Doctor of Philology

Independent researcher

(162 Bayside Crt, Richmond CA, 94804, USA;

email: urnov@comcast.net)

### **Lena Szilard**

Doctor of Philology of the Hungarian Academy of Sciences

Independent researcher

(9 Széchenyi István Sqr., Budapest, 1051, Hungary;

email: szilard.lena@gmail.com)

### **Ekaterina E. Dmitrieva**

Doctor of Philology

A. M. Gorky Institute of the World Literature of the Russian  
Academy of Sciences

(25a Povarskaya St., Moscow, 121069, Russia;

email: katiadmitrieva@mail.ru)

### **Vladimir A. Kotelnikov**

Doctor of Philology

The Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian  
Academy of Sciences

(4 Makarova Emb., St. Petersburg, 199034, Russia;

email: vladiko@VK9485.spb.edu)

### **Pavel S. Glushakov**

Doctor of Philology

Independent researcher

(23 Gara St., Riga, Latvia; email: glushakovp@mail.ru)

**Abstract:** Selected materials of a virtual round-table session devoted to reminiscences about Sergey G. Bocharov (1929-2017) and discussion of his academic interests and achievements. B. Egorov remembers meeting and keeping in touch with Bocharov, as well as new friends he

made through him. Y. Mann elaborates on the ideological challenges to Soviet philology and on the role played by Bakhtin, Gogol, and Platonov in forming Bocharov's own personality. D. Urnov reflects on the nature of Bocharov's philological talent and the time when they both worked at the Department of Literary Theory in IMLI (Institute of the World Literature). L. Szilard reminisces about her student days at the Moscow State University and her friendship with Sergey and Irina Bocharov, which had lasted a lifetime from the 1950s. E. Dmitrieva considers the subject of Gogol as developed in Bocharov's articles, and on the latter's work to produce a complete collection of Gogol's writings. V. Kotelnikov brings up the topic of K. Leontiev as perceived by Bocharov. P. Glushakov chooses to revisit Bocharov's main ideas – for example, his concept of genetic memory of literature – and illustrates it with an extensive discussion of the duel, gunshot, and revenge in works by Pushkin, Lermontov, Chekhov, and Shukshin.

**Keywords:** S. Averintsev, M. Bakhtin, S. Bocharov, N. Gogol, K. Leontiev, A. Platonov, A. Pushkin, A. Chekhov, V. Shukshin, 'the substance of existence', genetic memory of literature, phenomenology.

The articles were received on 8 October 2017.